

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БИОГРАФИИ

А.Г. ЛЕВИНСОН

«...МЕНЯ ЗАНИМАЕТ ВНЕШНЯЯ СТОРОНА ВЕЩЕЙ»

Алексей Георгиевич, расскажите, пожалуйста, о вашей семье, ваших школьных и университетских годах.

А.Л.: Многие поколения моей семьи жили и живут в Москве. Это семья со смешанными корнями. В детстве со мной много занимался мой прадед. Когда мне было двенадцать лет, он был еще жив. Прадед был довольно экстравагантным, необычным человеком. Бедный чиновник, перед самой революцией он внезапно разбогател — стал пайщиком пароходства (то ли «Меркурий», то ли «Самолет» — не помню). Пароходство выплачивало немалые дивиденды, и таким образом — вдруг! — прадед купил училище, женские курсы, где стал преподавать. Это продолжалось совсем недолго. В 1917 году все было потеряно. После того, как революция отменила частную собственность, он без особых проблем пошел работать в советское учреждение. Работал где-то на ниве народного просвещения.

От прадеда я усвоил большое количество ярмарочных, гаерских шуток и прибауток. Мне пришлось встретиться с такого рода фольклором потом, в конце семидесятых годов, когда я стал заниматься историей площадного искусства, Нижегородской ярмаркой и т. п. Читая нижегородские и саратовские газеты начала столетия, я вдруг узнал знакомый мне с детства ярмарочный фольклор. Я запомнил и прадедовские рассказы, связанные с политической историей, — довольно странные в ее бытовом преломлении. Кроме всего прочего, прадед был очень рукодельный человек; будучи абсолютным самоучкой, он применял самые безумные технологии, например, клеил чугун столярным клеем. Он был олицетворением, если можно сказать, мужской функции не только в нашей семье, но и во всем нашем довольно большом доме.

Левинсон Алексей Георгиевич — кандидат искусствоведения, руководитель отдела качественных исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения. Адрес: 103064 Москва, ул. Казакова, д. 16. Телефон: (095) 265-54-90. Электронная почта: levinson@wciom.ru
Интервью проведено Г.С. Батыгиным 28 июля 2001 г.

Прадед мой принадлежал к русско-башкирско-татарской ветви в семье. Другая ветвь — дед, чью фамилию я ношу. Это линия евреев-выкрестов — еврейско-литовская линия. Дед был известным, преуспевающим московским адвокатом. Бабка по материнской линии — приемная мать красного командира, который воевал у Котовского и погиб в 1941 году, в первую неделю войны, — конница была обречена на гибель. Бабка была реэмигранткой из Америки — редкий случай. Она эмигрировала в начале десятых годов, перед империалистической войной, в Америку с тысячами других евреев-переселенцев, потом приехала на побывку в Россию, здесь и осталась, вышла замуж за человека, у которого уже были дети. Один из них уцелел при еврейском погроме. Он клялся, что берег был залит кровью, счет шел на десятки зарезанных мужчин, женщин, детей. Я знаю эту историю и от других людей, я нашел человека, который был тогда с ним вместе. Он был близким другом Котовского... А брат его эмигрировал в Палестину, другой брат погиб в ополчении под Москвой. Такая смесь судеб... Сестра этих парней — моя мать.

Мой отец учился на историческом факультете МГУ. Это был славный выпуск. Среди однокурсников-друзей отца — Некрич, множество других известных людей. Этот круг состоял преимущественно из «ифлийцев»¹. ИФЛИ существовал всего несколько лет, но сформировал мощную культуру. Эти люди даже по прошествии долгого времени, в пятидесятые и шестидесятые годы, представляли собой очень выраженное сообщество. Я с ними был близко знаком, потому что летом мы жили, как правило, на даче в подмосковном поселке Жуковка. Жили почти коммуной. Это был такой быт, где свои и не свои дети перемешивались, а взрослые постоянно общались между собой, вели доверительные разговоры на исторические и литературные темы. Много позже эта линия отчасти влилась в диссидентское движение. На меня оказало особенно значительное влияние то обстоятельство, что многие люди с громкими именами были известны мне, скажем, с бытовой стороны.

Отец был востоковедом, доктором исторических наук, он специализировался по истории Юго-Восточной Азии. Работал в Институте востоковедения Академии наук СССР с 1950 года до своей смерти в 1988 году. В детстве у меня были всякие планы, например, ботаникой заниматься. Но я пошел по стопам отца, по линии востоковедения. Я учился в очень хорошей школе (знаменитой 59-й). В 1961 году поступил в Институт восточных языков при МГУ (сейчас он называется Институтом стран Азии и Африки) на отделение индонезийского языка и истории. Хотя я ни одного дня не работал по университетской специальности, я не считаю свою востоковедческую подготовку зряшной. Потрачено много сил на изучение языка, которым я не пользуюсь, — но и это не напрасно. Прошел много всяких других вещей, спецподготовку, которая, к счастью, оказалась ненужной. Но сама восточная специализация помогла впоследствии увидеть многое.

Волею неких сил история Индонезии оказалась своеобразным зеркалом истории России. Иногда какие-то значимые социальные и политические события в одной стране в карикатурном виде отражались в событиях в другой

¹ ИФЛИ (МИИФЛИ) — Институт истории, философии и литературы (1938–1941). — *Прим. ред.*

стране, например, борьба с «космополитизмом»... Тамашние трагедии бывали и посильнее тутошних. Когда-то я прочитал о коррупции в развивающихся странах. Индонезия получила деньги на развитие чего-то важного для национальной экономики, а вместо этого чиновники накупили себе «Мерседесы», я подчеркиваю: «Мерседесы». Так вот... Из нашего советского далека я едко усмехался в адрес индонезийских коррумпированных чиновников. Прошло много лет, двадцать или тридцать... — и здесь то же самое! Выходит, «Мерседес» — это нечто архетипическое. Этнические, лингвистические, географические, климатические, исторические, конфессиональные признаки — все разные. Трудно найти что-то более далекое от нас, чем Индонезия. Австралия ближе России, чем Индонезия. Но удивительно, сколь одинаковы социально-культурные образцы. Революционное, советское пристрастие к сокращениям и то повторяется: генсек — у нас и какой-нибудь секджен — у них. Это невозможно объяснить подражанием, хотя там были попытки кое-что заимствовать, например, троцкистскую идеологию для одной из партий.

Чему учили в Институте восточных языков? Вероятно, это было элитное учебное заведение?

Качество гуманитарного образования, которое давал ИВЯ, по крайней мере на так называемом историческом отделении, где я учился, было своеобразным: это был не университет в прямом смысле слова, а скорее школа переводчиков. Может быть, это обидно для наших преподавателей, но таково было задание для подготовки востоковедов. Среди преподавателей были отличные специалисты по истории Востока, по ее отдельным периодам, молодые и не очень молодые люди. Но уже не было той знаменитой русской востоковедческой школы. Оставались ее обломки. Мы проходили историю Древнего Востока и Средневековья по книжечкам Академии общественных наук и Высшей партийной школы.

Идеологический режим в ИВЯ тоже был соответствующим?

Идеологический режим был крепким, но все дело в одной его поучительной особенности — он был самоподдерживающийся. В ИВЯ была приманка под названием «работа в стране изучаемого языка». Выезд за границу «в страну», как у нас говорили, в те времена был свидетельством большого доверия со стороны начальства, органов.

Не все выезжали?

Конечно, не все. Это зависело от того, какой язык ты изучаешь, спрос мог быть больше или меньше, но всегда была «бритва» — определенный контингент отсекался от «страны изучаемого языка». Это обстоятельство создавало атмосферу идеологической коррумпированности. Стучали друг на друга постоянно, хотя стучать было в общем-то не на что. Выдумывали какие-то «диверсии». К примеру, девочки из наших, то есть советских, восточных республик, аморалку друг у друга обнаруживали. А сообщали-то куда? На военную кафедру! Очень интересно.

Впрочем, я был знаком с ребятами с филологического факультета и мог видеть — сбоку — дух студенчества, студенческой дружбы. На филфаке

постоянно что-то происходило, какие-то политические дела, кого-то выгоняли... У нас — ничего подобного. Были эксцессы, когда из комсомола исключали за пьянку с японской делегацией, или в гостинице кто-то был пойман оперативниками. Вне всякого сомнения, я дорожу тем, что я получил в ИВЯ, мне близки и дороги мои друзья-однокурсники — среди них есть замечательные люди. Но, к сожалению, я не могу сказать, что Институт восточных языков был элитным учебным заведением во всех отношениях. В смысле контингента — может быть, да. Но не в смысле получаемого образования. Мне кажется, что сейчас там учат лучше, ближе к университетскому стандарту.

Круг вашего чтения к тому времени уже сформировался?

К своему стыду должен сказать, из меня не сформировался читающий человек. Мое образование в основном аудиальное. Были ребята, читавшие во много раз больше, чем я... Хотя кое-что я читал раньше других в силу семейных обстоятельств. Например, я имел счастье видеть Александра Исаевича Солженицына, когда он приезжал из Рязани, и рассказ под заглавием «Щ-854» я читал, кажется, еще до того, как он попал в «Новый мир» и стал «Одним днем Ивана Денисовича». Мои родители были близко знакомы с Львом Копелевым, а Солженицын в то время был его ближайшим другом, тогда его звали «Саня». Они разошлись много позже. Он в Жуковку, на дачу, приезжал. Если говорить о том, что было напечатано на папирусной бумаге, этого я читал немало.

Совершенно ясно различались официоз и литература. Официоз существовал в качестве школьной программы, которую надо пройти. Тут не было никаких сомнений, все это было депроблематизировано моим семейным окружением. Однако еще раз должен сказать, я не был книжным мальчиком и воспринимал это эстетически. С малолетства меня интересовали две вещи. Во-первых, то, что можно назвать стилевой стороной существования, то, что выражается в фактуре, интонации, модальности, не обязательно вербализуется, а если вербализуется, то скорее в арго, экспрессивах и т. п. Впоследствии меня очень занимал «дизайн», то есть внешняя сторона вещей. У меня есть какая-то чувствительность к семантике вещей, которая записана таким образом. Во-вторых, я был специфически ориентирован на отношения в первичных группах, социальную психологию, непосредственную социальную материю. Если я и совершил какое-то движение в своей судьбе, то под влиянием этих двух установок.

Официоз был прочувствован прежде всего на эстетически-вкусовом уровне. Например, у меня нет никаких сладких воспоминаний детства, я никогда не любил сталинскую архитектуру, как ее полюбили в 1980-е годы многие мои друзья. Она была неприятна мне с самого начала, неприятной и осталось. Когда я вижу фотографии Москвы 1950-х годов или фильмы об этом времени, у меня не возникает и тени ностальгического чувства. Само время было тяжелым по фактуре. Я точно знаю, что не выдумал это задним числом. Наоборот, тяжесть эпохи осталась в моих воспоминаниях, это время уходит в прошлое, но его тяжесть не уменьшается. Моя семья — так получилось — была относительно благополучной: никого не посадили, никого не расстреляли. Деда сажали на переломе тридцать седьмого года, но выгнали

из застенков — товарищ спас. Во всей этой механике были свои сбои. Никто из моих близких себя не замарал, не занимался доношением, поэтому никому не приходилось раскаиваться. И семья была не бедная. Так что прямых поводов считать эти годы темными у меня нет. Но этот воздух ... Эти пионерские построения... При всем при том я был не то что лояльным ко всему этому делу — я был идейным комсомольцем, даже очень идейным. И это сочеталось с моим семейным окружением. Я с Копелевым полемизировал яростно, что, наверное, было смешно. Я был мальцом, а он к тому времени прошел лагерь. Копелев говорил моему отцу: «Левинсон, что у тебя за сын такой? Ты вроде нормальный человек, а сын у тебя пылает идейным огнем». Сколько же понадобилось времени, чтобы выгорело это вещество...

В чем заключалась ваша идейность? Вы были активистом?

Я был неформальным... Сейчас это неловко говорить, зато я точно могу сформулировать: я был неформальным лидером в классе. Я навязал группе ребят, нас было человек шесть, то самое, что называлось идейностью. Задавался некий четко очерченный контур. Разумеется, на самом деле это была не какая-то определенная идейность, а скорее гиперреализация комплекса, который был принят в качестве официоза. Но я повторял его от чистого сердца, что в общем-то не требовалось. Как известно, такая установка ведет к неизбежному конфликту с властью. Мне не пришлось ввязываться в прямой конфликт с режимом, но многие «идейные» люди боролись с ним почти с такой же непримиримостью, с какой боролись его противники. С «идейной» позиции можно было уличить власть в слабости, неортодоксальности: «По Ленину должно быть так, а вы что же, ребята, делаете?»

Идейность от чистого сердца тогда не требовалась...

Да, в то время она точно не требовалась. В этом смысле я был слегка старомодным, но надо учитывать, что все это происходило в школе. Кстати, наша школа пережила сильный шок. В старшем классе, на класс старше меня, учился Володя Буковский, который начал свою «карьеру» с издания журнала «Мученик». Был скандал общемосковского масштаба — по бедности тогдашних политических событий. Наша школа, бывшая, что называется, на хорошем счету, попала в центр внимания. Заменяли половину учителей, стали нас «укреплять». Казалось бы, должна была начаться «давиловка» — нет, наоборот: пришла очень хорошая учительница литературы. Увидев во мне чувствительность к слову, к деталям жизни, она поставила мне несколько пятерок, как бы неизвестно за что. Я уверен: она понимала, что делала. А для меня была чрезвычайно важной поддержкой этой моей способности.

В университете эта способность сохранилась?

Если вернуться к университетским годам, то, вероятно, она выразилась в тяге к маргинальной тематике. Курсовую работу на четвертом году учебы в ИВЯ я писал о городской мелкой буржуазии. Тема была подступом к урбанонологии. Смешно то, что тогда я читал книжки о городе в далекой азиатской стране. Одним из авторов был Клиффорд Гирц — парень, только-только написавший свою первую работу. В конце 1940-х годов какой-то американский

университет высадил научный «десант» на Яве, шесть-восемь исследователей. Они сделали очень мощную работу, case study. Это было мое первое знакомство с социологией. Я уже знал это слово из американских книжек. Социология меня очень заинтересовала, и когда в Москве открылась Школа молодого социолога при Университете молодого марксиста, я оказался в числе так называемых молодых социологов.

Этой школой занимался Вадим Ольшанский?

Да, Ольшанский, который перевел книгу Шибутани. Удивителен был либеральный ручеек, протекавший через Московский горком ВЛКСМ; в нем был Университет молодого марксиста, который представлял собой изрядную фронду, а в этом Университете — Школа молодого социолога... Там я познакомился с людьми, которые впоследствии работали в социологии. Среди них был и Юра Самсонов... Это было моим первым шагом в социологию. А второй шаг связан со статьей Ю.А. Левады об управлении общественными процессами. Статью мне принес отец. «По-моему, ты этим интересуешься», — сказал он.

Я тогда заканчивал пятый курс, предстояла практика в стране изучаемого языка. Но к этому времени в стране изучаемого языка уже зарезали не менее трехсот тысяч коммунистов, вместо большого друга Советского Союза Сукарно к власти пришел генерал Сухарто. Он показал, как надо управлять страной. Коррупция с равным успехом поражает и тех, и других, идеология здесь не имеет значения...

«Мерседесы» появились?

«Мерседесы» появились уже в третий раз. Там коррумпированные чиновники националистические, потом прокоммунистические, потом антикоммунистические... Так или иначе, вопрос о стране изучаемого языка передо мной не стоял.

Примерно в это время, шел 1967 год, в Институте философии был создан отдел конкретных социальных исследований, которым руководил Г.В. Осипов, а в этом отделе был сектор теории и методологии, который возглавлял Левада. Из статьи Левады я уяснил определение культуры, которое развертывалось на основе кибернетической метафоры, также я вычитал близкие мне идеи в левадовской книжке по социологии религии. Мне казалось, что в этом можно найти ключ к проблемам, над которыми я тогда пытался думать. Я очень хорошо помню день, когда в коридоре Института философии, на Волхонке, несколько человек, каждый со своим поводом, ждали Леваду. Присматривались к каждому проходящему: Левада или нет. В лицо его не знал никто из ожидавших. Но у всех были представления, каким Левада должен быть. По коридору проходили люди, но у них не спрашивали: «Простите, вы не Левада?» Некоторые все-таки годились, хотя бы отчасти, поэтому их спрашивали. Было интересно наблюдать их реакцию. Мало кто отвечал просто: «Извините, вы ошиблись». Это всегда было выражено: «Не-е-т, я — не Левада!» В общем, было какое-то ощущение нерядовой встречи. А встреча оказалась смешной. Вошел вот такой человек, я объясняю, что учусь там-то и там-то, предстоит практика, хотелось бы у вас тут, если можно. Левада оторвал какой-то косой треугольный листок и на нем написал:

«Прошу зачислить практиканта» или что-то в этом роде. Сказал: «Отнесите машинистке». Я отнес — очень милая женщина. И все... Были разрушены мои представления о том, как делается бумага. Я немного общался с бюрократами, но мне всегда казалось, что в таких случаях пишется серьезное заявление. В течение двух-трех минут была получена подпись Г.В. Осипова, и моя судьба была определена. С тех пор наши отношения не прерывались никогда. На мой взгляд, подобный стаж — не только факт моей личной биографии и личной привязанности к Леваде, но и интересный науковедческий факт. Левада сказал: «Приходите через неделю, будет первое заседание нашего сектора». В те годы создавалось научное сообщество, которое многие годы называлось семинарами Левады, и одновременно существовал сектор Левады — это не одно и то же. В общем, я стал частью этого сообщества.

Первое заседание проходило на Писцовой улице — там было выделено помещение для отдела. Левада дал адрес, я пошел туда первый раз. Вижу, по двору ходит человек со здоровенным магнитофоном — тогда такие магнитофоны назывались переносными. Это был Георгий Петрович Щедровицкий. Его доклад, если не ошибаюсь, о теории деятельности обсуждался на первом заседании семинара Левады. Он принес этот магнитофон, потому что все, что он говорил, записывалось, а потом перепечатывалось. В числе сотрудников сектора была Галина Ефимовна Беляева, Александр Дмитриевич Ковалев... Несколько человек работали в секторе Левады, и регулярные семинары создавали уникальную атмосферу. У меня сохранилось множество исписанных блокнотов — конспекты докладов. Для меня это было принципиально важно, потому что пробелы в моем круге чтения восполнялись «кругом слушания». Лев Дмитриевич Гудков очень точно назвал этот период периодом устной социологии. Этот феномен имеет свои науковедческие особенности. О семинарах Левады не раз писали. Я думаю, что это была не только социология... Или социология в том расширенном смысле, в каком мы ее переживали. Даже не *social science*, а некоторое порождение знания об обществе, где наряду с освоением научного материала происходило его выговаривание, — потом этот новый компонент стал называться гласностью. Локальная гласность всегда была очень важной частью нашего дела. Иногда мы приходили просто услышать то, что все знают, но услышать, как это будет сказано вслух... Поток участников семинара организовывал, в основном, Левада. На семинарах бывал интеллектуальный цвет Москвы, например, А.Д. Сахаров приходил в качестве слушателя. Наверно, о семинаре Левады надо говорить в деталях и особо...

В секторе Левады вы были аспирантом?

Сначала я был младшим научно-техническим сотрудником, то есть лаборантом, месяца полтора. Потом сдал вступительные экзамены в аспирантуру. У меня была тема «Культурологический анализ проблем архаического города». Диссертация была написана, обсуждена и готова к защите. Но в это время последовал так называемый разгром ИКСИ. Об этом много знают, много писали, я мог бы рассказать и свою версию, притащить свои записи тогдашних событий...

Но вернемся к «карьере». Диссертацию защитить не удалось. Моему научному руководителю Леваде было приказано покинуть институт, ученый

совет был упразднен, большинство моих старших товарищей должны были срочно покинуть заведение... О защите и речи не могло быть.

Это был семьдесят второй год?

Да. К тому времени мне кое-что удалось сделать. Я горжусь тем, что судьба меня свела с Владимиром Микуловичем Долгим. Мы с ним познакомились на ниве изучения города и написали статью, которая называлась «Архаическая культура и город». Она напечатана в журнале «Вопросы философии» в 1971 году и стала одной из первых моих публикаций. Ее помог провести Борис Андреевич Грушин, за что я ему весьма признателен.

Когда проходило так называемое обсуждение «Лекций» Левады, Грушин был единственным, кто открыто противостоял организаторам «обсуждения». Он сказал следующее (думаю, что запомнил дословно): «Будущее покажет, кто стоял, а кто — лежал на пути развития советской социологии, и притом не вдоль, а поперек!» Однако судьба ИКСИ была решена, сектор Левады разогнали. В принципе я мог оставаться в институте, потому что я был молодой специалист и меня по советским законам выгнать не могли, но уходили все мои товарищи, и я ушел. Началась длинная эпопея странствий по разным научным учреждениям, где я подвизался в качестве практического или прикладного социолога: архитектура, культура, дизайн — техническая эстетика. Научный отдел Института проектирования зрелищных зданий был одним из лучших мест. Я занимался более-менее тем, чем хотел, и находился среди хороших или очень хороших людей. То, что мы делали, было всегда для чего-то нужно, хотя и не тем институциям, в которых все это происходило. Так называемая социология на неформальном уровне была довольно популярной, и несмотря на официальное ее неприятие почти каждый замдиректора по науке хотел иметь своих социологов. В то же время он не хотел, чтобы они что-то делали. Но иметь социологов — иметь! — было здорово. Так что вопрос с моим трудоустройством каким-то образом решался.

В упомянутом ЦНИИЭП зрелищных зданий и спортивных сооружений пришлось заняться среди прочего социологическим обеспечением проекта по детским площадкам. Меня заинтересовала тема качелей и каруселей, которые в обыденном сознании образуют пару, как у Корнея Чуковского. Проблема заключалась в поиске их происхождения. Ознакомление с предметом показало, что история качелей и история каруселей — истории очень разные... Потом выяснилось, что история каруселей — это интереснейшая тема, с ней теснейшим образом связаны культура античности, средневековья, петровская и екатерининская эпохи в России. Василий Львович Пушкин, Державин...

Среди друзей моих родителей был Натан Эйдельман. Он рассказывал, как он ищет сведения о какой-то персоналии, упомянутой мельком в черновиках Пушкина. Как он нашел дневники этого человека, поездки, встреча с полупарализованным архивариусом... Эйдельман передал изумление перед редкими деталями, которые знал только он, восторг от того, что ты открываешь рукопись, которую до этого никто не открывал 230 лет. Это меня заразило. Мое историческое образование позволяло мне грамотно обращаться с источниками, а знакомство с социологией давало необычный для историков

тех лет взгляд на историю карусели. Я чрезвычайно благодарен этой теме, она для меня составляет большой кусок жизни. Мне удалось кое-что сделать. Свою первую, социологическую, диссертацию я не считал возможным переделывать. Поэтому она лежала и лежит. А тут мне удалось написать совсем другую работу. В ней есть своя социология, есть социологическое понимание феномена массовых городских гуляний. Но диссертация защищалась в Институте искусствознания. Научным руководителем был Юрий Арсентьевич Дмитриев — родоначальник, точнее сказать, один из столпов советского цирковедения. В ходе собирания материала для диссертации я даже вышел на Юрия Лонго — знаменитого Лонго! — мага, настоящего мага довоенных лет. Я познакомился с человеком, вырезавшим силуэтики из бумаги в кинотеатре повторного фильма. Он был последним из могикан этого ремесла и знал российский цирк изнутри. Девять десятых его знакомых к тому времени уже умерли — великие клоуны, фокусники, акробаты. Он мне сказал: «Пойдем к Лонго». Мы переносили визит с неделю на неделю, в какой-то там четверг решили пойти, а в понедельник он умер.

Контакты с социологическим сообществом, конечно, сохранялись...

Кто входил в этот круг?.. Галя Беляева, Саша Ковалев, Саша Голов, Лев Гудков (он еще в ИКСИ сменил меня на посту секретаря), Леонид Александрович Седов — тоже бывший востоковед, Юрий Алексеевич Гастев, Эдик Зильберман (потом он уехал), Михаил Виткин (тоже уехал)... Боря Дубин пришел много позже. Когда нас разогнали, Гудков сначала пошел работать в ИНИОН, потом его выгнали. Из-за меня он пошел на скандал в ИНИОНе, ему снова пришлось искать работу, тогда он и попал в Библиотеку Ленина...

А что в ИНИОНе произошло?

Гудков работал в реферативном отделе у Ракитова и заказывал специалистам разные рефераты. Мне он заказал реферат об эмиграции из Израиля — «Утечка умов из Израиля». Неординарная тема! Вообще говоря, критиков сионизма она могла бы порадовать. Гудкову было сказано, чтобы не тащил такую тему в реферативный сборник, а он не такой человек, чтобы отступать, и повздорил с начальником. Конечно, это был повод, как мне кажется, там еще до этого назрели какие-то напряжения с Ракитовым. Гудкову пришлось уйти, и он попал в сектор В.Д. Стельмах в Библиотеке Ленина. У меня была возможность ходить на семинары в сектор книги и чтения. Эта группа находилась под сильным влиянием Левы Гудкова. Борис Дубин набирал обороты с невероятной скоростью. На моих глазах, не бросая своих переводческих занятий, он сделался первоклассным социологом.

Если вернуться к сектору Левады, то этот круг уникален собранием превосходных людей. В него входили также Вика Чаликова, Борис Юдин, другие люди... Всех невозможно перечислить. В свое время внутри левадовского сектора был еще и неформальный культурологический семинар, которым руководил Дмитрий Михайлович Сегал (он давно в Израиле). Культурологическую линию поддерживал именно Сегал благодаря своей включенности в мощное гуманитарное направление, которое тогда называлось семиотикой. Сегал был соавтором В.Н. Топорова, Вяч. В. Иванова, входил в круг Ю.М. Лотмана. Я с ним ездил в Кяэрику, на летние школы. Там я по-

знакомился со многими замечательными людьми, которые оказали на меня огромное влияние.

Вы работали в Институте искусствознания?

Нет, в Институте искусствознания я только защищался. Я тогда работал у Иосифа Дискаина. При Министерстве культуры был Научно-исследовательский центр, затем Гипротейтер, затем еще какая-то избушка на куриных ножках. Гипротейтер занимался проектированием зданий, но под его крышей работали разные исследовательские группы. Дискаин много людей держал под крылом, это ему зачтется.

В вашей работе всегда сохранялась какая-то центральная идея?

Социология, история и исследования культуры в определенном смысле для меня неразличимы. В первой моей диссертации центральной была глава по О.М. Фрейденберг. Книга О.М. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра», 1936 года издания, которую мне подарил мне товарищ по институту Виктор Александрович Бейлис, произвела на меня сногшибательное впечатление. Тогда я вскопал культурологическую проблематику двадцатых годов, занимаясь преимущественно Франк-Каменецким, Фрейденберг, но не формалистами. К сожалению, я опубликовал очень малую часть этих материалов — сделал доклад в Ленинграде на юбилейных чтениях по Фрейденберг. Сейчас уже много народу этим занимается, много издано. Культурологическая компонента моей работы давала возможность вникнуть в историю массовых развлечений. Трудно сказать, где здесь начинается социология. Меня интересовала прежде всего морфологическая сторона культуры. Какие средства коммуникации отвечают определенным социальным целям, какие социальные конструкции реализуются при помощи тех или иных средств коммуникации? Вот пример. Хотя в ранне-советском клубе не было иных технических средств, кроме лавок, фанерных трибун и картонных рупоров, там реализовывались типичные масскоммуникативные ситуации. Когда появились радио и кино, они, по сути, лишь оформили то, что было раньше. Равным образом ранний кинематограф лишь оформил то, что до этого существовало в виде балагана, — просто перевел на экран известные эффекты. Такие вещи интересно наблюдать. Должен сказать, что мое понимание вкуса и стиля предполагало принципиальное внимание к малому, потому что именно через малое получает выражение запретное большое... Может быть это запретное большое лишь казалось большим, потому что оно не могло быть выражено непосредственно. Тем не менее при том режиме и в той ситуации, в которой мы находились, оно выговаривалось, вышептывалось через нюансы. Я находил в этом прелесть своей профессии. Это своеобразный вариант эзоповой речи: узнавать высокое через мелочь, через миниатюрное, через пренебрегаемое, через низкое. Например, я занимался макулатурой, низовыми формами искусства, изучал Державина через его отношение к качелям, но не самого Державина.

В 1988 году был создан Всесоюзный центр изучения общественного мнения. Его создатели Б.А. Грушин и Т.И. Заславская сделали великое дело для нашей социологии. Но, создав центр, они выдерживали странную паузу: центр был, исследований не было. Странно было не приглашать Леваду во

ВЦИОМ. Наконец Левада был приглашен; давая согласие, он сказал: «Да, но с моими ребятами». Таким образом, произошло небывалое в истории гуманитарной науки — реинституционализация школы. Сектор Левады, заложенный в 1966 году, снова собрался в 1988. Конечно, школы существовали и подольше, но вот так не восстанавливались. Когда появилась возможность заниматься непосредственно тем, что я называю словом «большое», не прибегая ни к какому «малому», не вставляя в схему рассуждения никакой опосредующей структуры, я бросил все то, чем занимался. По той причине, что это перестало быть нужным инструментально. Я вломился в изучение общественного мнения с невероятной страстью и силой. Началось пропадание на работе, оно длится до сих пор, хотя многое изменилось. От политики мы переходим порой к чистому маркетингу или социальным проектам, но «запойный» характер работы остался. В начале работы ВЦИОМа мы были полностью вовлечены в прямую речь, или иллюзию прямой речи. Действительно, есть чувство, что работаешь не зря, когда наши данные звучат с трибуны Верховного Совета или с крыши Белого дома двадцать первого августа 1991 года. Возможность прямой речи была настолько всеобъемлющей, что я не делал ничего другого. Потом пришло время, и я стал возвращаться к тому, чем занимался раньше. Сейчас смотрю на все это двумя глазами.

Вероятно, вы всегда занимались своим делом независимо от внешних обстоятельств?

Трудно сказать. Бывают вещи, которые делаешь и думаешь: «Господи, зачем я это делаю». Они настолько плохо получаются, что от меня отстают. Но мне приходилось с азартом заниматься разработкой самых разных вещей, например, игровых ситуаций для автомата «гонки», которые на вокзалах устанавливаются. Я работал тогда в «Союзаттракционе» — единственной в мире научно-исследовательской лаборатории аттракционов. А чем я здесь — в отделе качественных исследований ВЦИОМ — занимаюсь? Через два дня у меня будет проект по презервативам. Недавно было исследование по унитадам. И это не курьезно, не скандально, это просто интересно. Кстати, интересно не прикосновением к табуированным темам, а тем, как проступают сквозь них «классические» социологические феномены. А секс, эротика ждут тебя там, где и не думал, — скажем, в откровениях домохозяек насчет своих холодильников. Не менее интересно вести проекты по проблемам образования, по ведущим политикам и партиям. Интересно не только видеть отражение телевизора в головах людей, но наблюдать, как на твоих глазах рождается, самоконструируется общественное мнение. Того, кто это увидит своими глазами, к редукционизму не склонишь, для него общественное мнение существует с такой же несомненностью, как русский язык — для учителя-словесника. Я не могу сказать, что все на свете интересно, но, вообще говоря, во всем, с чем приходится профессионально соприкасаться, можно найти отсвет социального, способность социального. Помните, что старые социологи называли социальным чувством?

Вы думаете, можно эстетизировать все?

Эстетизировать можно все, но я говорю не об эстетизации, а об эстетическом видении предмета. Например, одежда, мебель — вот этот стул, ка-

фель, которым отделан солдатский туалет, замазанные надписи, фактура покрашенных стен — все это стили, эстетические формулы. «Деревья складками коры мне говорят об ураганах...». Предметы и изображения говорят мне о социальных отношениях не меньше, чем другим исследователям — тексты. Например, я написал статью об эстетике насилия, потому что смысл насилия раскрывается в том числе в определенных стилевых качествах среды, заданной институтом насилия. Такова среда казармы, военного городка. Ее формируют не художники, а старшины и дембеля. Она отражает нечто ужасное в их жизни, ужасные обстоятельства, которые они приняли и объявили нормальными. Если хотите, это настолько же эстетика, насколько семантика социального.